***Текст В. Шаламова «Детская тетрадь»***

(1)Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования, найденная мною в куче мусора. (2)Все её страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво.

(3)Я перевёртывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы.

(4)И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. (5)От прикосновения волшебных кисточек оживал мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. (6)Иван Царевич на сером волке скакал по еловому лесу. (7)Ёлки были меньше серого волка. (8)Иван Царевич сидел верхом на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. (9)Дым пружиной поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые галочки, виднелись в синем звёздном небе.

(10)И чем сильнее я вспоминал своё детство, тем яснее понимал, что детство моё не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради. (11)Это была грозная тетрадь.

(12)Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот жёлтый цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих. (13)В тетрадке было много, очень много заборов. (14)Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены жёлтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. (15)Железные нити казённого образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

(16)Около забора стояли люди. (17)Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были солдаты, это были конвойные и часовые с винтовками. (18)Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. (19)И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. (20)Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

(21)Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми, и это не было детским неуменьем найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени. (23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.

(24)Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был ещё ребёнком, когда создавал тайгу. (25)Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудрёные.

(26)После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. (27)Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таёжное своё творенье и ушёл на юг навсегда. (28)Так говорила легенда. (29)И в зимних рисунках ребёнок не отошёл от истины. (30)Зелень исчезла. (31)Деревья были черными и голыми. (32)Это были даурские лиственницы, а не сосны и ёлки моего детства.

(33)Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван Царевич. (34)Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере:. (35)За плечами Ивана Царевича висел автомат. (36)Голые треугольные деревья были натыканы в снег.

(37)Ребёнок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме жёлтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба.

***(По В. Шаламову)***

Тифозный карантин

Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью.

– Белья у меня нет, – сказал Андреев равнодушно.

Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным движением вывернул рукава и вгляделся...

– Есть, Лидия Ивановна. – И заорал на Андреева: – Что же ты так обовшивел, а?

Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.

– Разве они виноваты? – сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово *они*, и взяла со стола стетоскоп.

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово *они* в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолго. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.

Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.

Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а в глубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахнуло запахом грязного тела, лежалых вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков бывших складов, доверху набитых новым, живым товаром, – в порту был тифозный карантин, и вывоза, или, как говорят по-тюремному, «этапа», из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где эритроциты – живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба – ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски.

В «секции», как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами – в телогрейках, бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской.

Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-«романиста» либо вокруг случая – а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили – ходили только в баню для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней, ежедневно потерянных, сто шестьдесят тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов – рабочие дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохраненных дней жизни.

Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика – наука коварная.

Когда раздавалась пища, все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И, едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай – теплая кипяченая вода – и через день по полселедки, в обед – только суп, в ужин – только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.

Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары:

– Вот твое место!

Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и «въезда» была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко – вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке не много было людей из тайги, а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя – ничего тут не предусмотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди – Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели, и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезкамера. Поэтому он шел охотно, и, хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил.

Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голенях Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные – так села кожа. Огнев заплакал – меховые чулки были его спасением на Севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы – притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал», как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку – три забора по десять ниток колючки, да еще запретное пространство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного дворика. Там была столовая, кухня, склады, больница – словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек – ассенизатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев – сосед Андреева – проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан.

– У барона Манделя, Андреев!

Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вон там, там. Барон – длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом – был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андрееву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте – не до смерти, к счастью, – и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневым в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался.

– Сегодня они меня, завтра я их. Я их... обыграю... В штос, в терц, в буру обыграю. Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких случаях – с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.

В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное – он не работал, лежал, и даже пятьсот граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека. Лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности – реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он – шлак, выброшенный с прииска. И он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый оттиск, который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск трех букв: ЛФТ – легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все, что можно.

Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит – все равно на золото я больше не поеду».

Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности – все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней.

Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже – самое главное – кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногax еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше – их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног – там отморожение захватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного – чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился.

Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Не один час заключенные молча толклись за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку – безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

«Только бы не вызвали, только бы не вызвали», – детским заклинанием умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемалывали его тело.

– Воронов! Воронов! – надрывался нарядчик. – Воронов! Здесь ведь, сука!.. – И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой молнийный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас...

– Андреев! – крикнул нарядчик.

Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «дел». Их было совсем немного.

«Последняя машина», – подумал Андреев.

Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.

– Сычев! Обзывайся – имя и отчество!

– Владимир Иванович, – ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу.

– Статья? Срок? Выходи!

Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию.

Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.

Андреев хотел жить. Две простые цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках... Золото – смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги, золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела – холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей («Пришлите две сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, – только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда – это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым, приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал: каждый, кому он расскажет свой план, выдаст его начальству – за похвалу, за махорочный окурок, просто так...

Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой – этому тоже он был хорошо выучен на прииске.

Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии – тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару – более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными: заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь, и приносил «домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытаскивал и съедал, – жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые отправления производились быстро, – слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простаивать часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй, вы, обзывайся, имя и отчество». И когда ежедневная жертва молоху была закончена, все, топоча, бежали в барак – оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа – тем лучше: вот была его заповедь. А всего лучше – одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

– Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае, собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар одна на другую подошвами наружу – так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака...

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло – непременный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка – подушка не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он – подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари, вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки: туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек – педерастом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев – придворные рассказчики, ибо блатные считают хорошим тоном интересоваться «рóманами»; придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях, и еще толпа услужающих, готовых на что угодно, лишь бы им отломили корочку хлеба или налили супчику.

– Тише! Сенечка говорит что-то. Тише, Сенечка ложится спать...

Знакомая приисковая картина.

Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было – это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гете, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры.

Андреев не верил своим глазам.

– Шнайдер!

– Да? Что тебе? – обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева.

– Шнайдер!

– Ну, что тебе? Тише! Сенечка проснется.

Но уже край одеяла приподнялся, и бледное, нездоровое лицо высунулось на свет.

– А, капитан, – томно зазвенел тенор Сенечки. – Заснуть не могу, тебя не было.

– Сейчас, сейчас, – засуетился Шнайдер.

Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечке.

Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, он запомнил капитана Шнайдера навек.

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком.

– Как твоя фамилия?

Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.

– Гуров, – сказал он смиренно.

– Подожди!

Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.

– Нет, нету.

– Можно идти?

– Иди, скотина, – проревел нарядчик.

Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал – что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, долю – профессор был слишком слаб. Это было правильно, и обижаться не приходилось – сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правильными – профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

– Без хлеба, что ли? – спросил Андреев хмуро.

– Ну, как без хлеба, дам понемножку. – И повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.

С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженой седой голове.

– Вот вам еще по рублю, – сказал повар. – Хлеба у меня нынче нет.

Это была превосходная плата.

На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору.

– Да-да, вы правы, – сказал профессор. – Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.

– Дело ваше, профессор. Только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.

– Да-да, вы правы, – повторил профессор, – но очень хочется сладкого. Выпейте и вы.

Но Андреев наотрез отказался от кваса.

В конце концов Андреев добился одиночной работы – стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами, метра четыре квадратных каждая. Полы были крашеные. Это была пустая десятиминутная работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая – махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы – хотя бы и пять минут в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на прииске. Даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки: половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав двенадцать – четырнадцать часов в смену, моет полы ночью за эти две папиросы. И еще считает за счастье – ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы – самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сложны, эталоны удивительны: чай, табак, хлеб – вот поддающиеся курсу ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов – десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так, дневальный дал Андрееву жетон на двадцать порций каши, и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного тазика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это действовало без отказа. Тазик наполняется кашей, выскакивая из окошечка в ответ на «жетон».

Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал наконец день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь.

– Все же не расстреливать ведь нас ведут, – сказал шагавший рядом с Андреевым огромный большерукий одноглазый человек.

Именно это – не расстреливать же – подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в отдел учета.

– Будем вам пальцы печатать, – сказал нарядчик, выходя на крыльцо.

– Ну, если пальцы, то можно и без пальцев. – весело сказал одноглазый. – Моя фамилия Филипповский Георгий Адамович.

– А твоя?

– Андреев Павел Иванович. Нарядчик отыскал личные дела.

– Давненько мы вас ищем, – сказал он беззлобно. – Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат.

Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтоб тайга еще не насытилась людьми. Отправки если и будут, то на ближние, на местные командировки. Или в самом городе – это еще лучше. Далеко отправить не могут – не только потому, что у Андреева «легкий физический труд». Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит, есть надежда на спасение, ждут своей, последней очереди. Андреев выстрадал это своей двухлетней работой на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком много было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.

После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по двадцать пять человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше – немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека – седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке.

– Вот все, – сказал нарядчик. – Подойдут? Человек в бекеше поманил пальцем старика.

– Ты кто?

– Изгибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, – бойко отрапортовал старик.

– Нет, нет, – поморщилась бекеша. – По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас...

– Печник, гражданин начальник.

– А еще?

– По жестяному могу.

– Очень хорошо. Ты? – Начальник перевел взор на Филипповского.

Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

– А ты?

Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки.

– Что это? – сказала бекеша с интересом.

– Вы не беспокойтесь, – сказал нарядчик. – Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

– А по-немецки-то зачем?

– Он из-под Саратова, из автономной республики...

– А-а-а... А ты? – Это был вопрос Андрееву.

«Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, – подумал Андреев. – Я буду кожевником».

– Дубильщик, гражданин начальник.

– Очень хорошо. А лет сколько?

– Тридцать один.

Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.

Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эсперантистов.

– Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

– Шпионаж, что ли? – равнодушно сказала бекеша.

– Вот-вот, вроде этого, – подтвердил вертлявый человек.

– Ну как? – спросил нарядчик.

– Беру, – сказал начальник. – Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.

Всех пятерых повели в отдельную камеру – комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии – это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.

– Куда мы едем?

– На местную командировку, куда же еще, – сказал нарядчик. – А это ваш начальник будет. Через час и отправим. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.

Через час их вызвали, только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмундирование», – думал Андреев. Ведь весна на носу – апрель. Выдадут летнее, а это, зимнее, ненавистное, приисковое, он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет – на списке была метка красным карандашом: «Зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые, чиненые валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно, и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки.

– Это он молитвы читает, мать его... – шепнул Филипповский Андрееву.

– Ну, кто тут что знает? – спросил Андреев. Седой, похожий на профессора печник перечислил все ближние командировки: порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой...

Дальше начинались участки дорожных управлений – места немногим лучше золотых приисков.

– Выходи! Шагай к воротам!

Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.

– Конвой, принимай!

Конвоир сделал перекличку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина...

– Садись в машину!

Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, – машина была полна людей, сидевших по всей форме.

– Полезай!

Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.

– На четвертый километр везут, – сказал печник.

Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам...

– Семнадцатый...

– Двадцать третий... – считал Филипповский.

– На местную, сволочи! – злобно прохрипел печник. Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.

– Сорок седьмой, – безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.

Машина пролетела мимо.

– Куда мы едем? – спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.

– На Атке, на двести восьмом будем ночевать.

– А дальше?

– Не знаю... Дай закурить.

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.

Сентенция

**Надежде Яковлевне Мандельштам**

Люди возникали из небытия – один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло – капли тепла – и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса достаточно было только для злости – последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством – тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем – на угольной разведке было много участков – и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: не спрашивай – и тебе не будут лгать. Мне было все равно – будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: не веришь – прими за сказку. Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком – легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «Титан». Меня могли выгнать – но куда? Тайга далеко, поселок наш, «командировка» по-колымскому, – это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе; ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную, вкусную, целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих из вольняшек, все они были вчерашними заключенными – не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила всех нас различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, – обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из «вольного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда ощипывалась бережно. Пух-перо – на подушку, тоже коммерция, верные деньги – приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, ощипанные куропатки варились в консервных банках – трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки измельчили, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое – были ягоды, корни травы, пайка. И я – не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы, смотреть на холодное красное солнце, на горы, гольцы, где все: скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя – было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман – и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легко ранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекции. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал и жил, виделась мне как сквозь туман – где-то двигались люди, возникала громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали – сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки – и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше – я выспался, как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы – не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось у меня нечто иное, чем злость или злоба, существующее вместе со злостью. Появилось равнодушие – бесстрашие. Я понял, что мне все равно – будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку – или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били – бьют только на приисках, – я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут, не бьют и не будут бить, рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх – не очень сильный страх – боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть – вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам – людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру – это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом – таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая, раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости – тем летом было много беглецов в тайге – топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберной винтовкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо – пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах – только этим объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.

– Убери ружье!

– Да ты что? С ума сошел?

– Оставь птицу, и все.

– Я начальнику доложу.

– Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же – в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство – прораб, начальник разведки, десятник – спускалось в наш мир без книг.

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить – двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылась передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут – я это ясно помню – под правой теменной костью – родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

– Сентенция! Сентенция!

И захохотал.

– Сентенция! – орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь тем лучше, – тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо.

– Сентенция!

– Вот псих!

– Псих и есть! Ты – иностранец, что ли? – язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. «Три табачинки».

– Вронский, дай закурить.

– Нет, у меня нету.

– Ну, хоть три табачинки.

– Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

– Иностранец? – Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.

– Сентенция!

– Псих и есть.

Чувство злости – последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинуясь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба – на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень – и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли – картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.

Сентенция – что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция – римское слово. Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода. А через неделю понял – и содрогнулся от страха и радости. Страха – потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости – потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом – в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял вовремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном лиственничном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг – убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет...

**Валентин Распутин «Прощание с Матёрой» (отрывок)**

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, ужи доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

– Ты чего, ты чего, бабка?!

– А ну-ка марш отседова, нечистая сила! – задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой.

Мужик отскочил.

– Но-но, бабка. Ты это… ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты… вы… – Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. – Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

– Марш – кому говорят! – приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. – Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… – Дарья взвыла. – А ты их тут хоронил?

Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!. – Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла. – О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, – кинулась она опять на мужика. – Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

– Да отцепись ты, бабка! – взревел мужик. – Ответишь. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники.

– Кто приказал? Кто приказал? – бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: – Для вас святого места на земле не осталось! Ироды! На шум из кустов вышел второй мужик – этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей нe свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке – вышел с топором в руке, и, остановившись, прищурился.

– Ты посмотри, – обрадовался ему медведь. – Наскочили, понимаешь. Палками машут.

– В чем дело, граждане затопляемые? – важно спросил второй мужик. – Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

– Какой ишо сам-аспид-стансыи? – сейчас же подернулась она. – Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

– Ну оказия! – мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

– И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

– Че натворили?! Че натворили?! – подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, а Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

**Антон Павлович Чехов рассказ «Ионыч» (отрывок)**

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал

заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и

играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был. От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось

несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

 Рассказ Бориса Екимова: “Говори, мама, говори”

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:

– Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость – спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит – и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

– Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг… Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

– Кидаю умом, не накину… – жаловалась она соседке. – Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод – мобильный телефон.

– Мобила! – горделиво повторяла она слова городского внука. – Одно слово – мобила. Нажал кнопку, и враз – Мария. Другую нажал – Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? – вопрошала она. – Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…

Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой. Одно дело – возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и решила ехать на зиму к своим. Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.

Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся. Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу – «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

– Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился «мобильный». И то слава Богу.

– Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

– Это что за страсть такая… – ворчала старая женщина. – Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…

А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.

– Мама, слышишь меня?

– Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские – модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове – рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?

– Мама, – донеслось из телефона строгое. – Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.

– Прости Христа ради, – опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей… И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним – другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.

Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг… онг-онг… – слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке – белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

– Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что – живая. Я ныне так вдарилась, – пожаловалась она. – Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… – подосадовала она. – Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…

– Мама, – раздался в телефоне далекий голос, – конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.

– А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…

– Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это – мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

– Вроде бы не сломала, – все поняла старая женщина. – Прикладаю капустный лист.

На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…»

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном – день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек – внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

– Болят ваши косточки?..

Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

– Болят, моя доча…

– Ноют руки и ноги?.. – словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

– Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка – никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…

– Болит ваша спина… – мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.

– Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…

Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.

Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк. Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая… Чего ревешь?..» Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

– Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… – Она опомнилась: – Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…

Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:

– Говори, мама, говори…

– Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

– Говори, мама… – просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. – Говори, мама, говори…

*Рассказ из книги “Екимов Борис. Возвращение. Рассказы о живой жизни”*

*– М.: Издательский дом «Никея»*